

СОВЕТСКАЯ КУЛЬТУРА

ПОЧЕМУ-ТО для многих старых москвичей, даже и не знакомых с ней лично, одного ее имени-отчества бывало достаточно, чтобы думать и говорить о ней. Оно для них звучало не уже, а, может быть, даже шире, чем «Книппер-Чехова» афиш и рецензий. Само собой разумеется, что даже и для тех, кто присваивал себе право называть ее просто Ольгой Леонардовной, в полной силе оставалось за этим и имя **Книппер**, звучавшее столько лет почти символом пленительной «чеховской женщины» на сцене Художественного театра, и давно уже ставшее от него неотделимым имя **Чехова**, с великим достоинством пронесенное ею через всю жизнь. Но это как бы само собой разумелось. Очевидно, было в ней, в ее натуре, во всем том, что она собой являла и значила в жизни своих современников разных поколений, нечто не вмещающееся даже в ее громкое актерское имя. Вот это «нечто» многим, вероятно, и хотелось выразить как-то более интимно, не по-обычному.

Поступив в театр, я застал Ольгу Леонардовну именно такой, какой я ее и ждал. В чем-то самом главном ее реальный облик совпадал с тем полурежиссерским, который я принес с собой извне. Этот теперешний ее облик заставлял невольно забывать, что она уже приближается к тому возрасту, который называют преклонным, что ее актерский зенит уже позади. Забывать об этом было нетрудно, не только глядя на нее из зрительного зала, когда она играла Раневскую в «Вишневом саде». Она и вне сцены, в жизни, при любой, почти каждодневной, с ней встрече в коридоре театра, или в актерском «чайном фойе», или у нас в литературной части, куда она любила зайти посидеть, обсудить театральные дела, или в консерватории на каком-нибудь концерте, да и у себя дома, тогда еще в ее старой, не очень уютной квартире на Пречистенском бульваре — словом, везде и всегда она сохраняла какое-то неуловимое, чисто чеховское изящество. Вернее сказать, она его излучала — всей естественностью, простотой своего артистизма. Но и еще что-то чеховское было в ней: как будто что-то от постаревшей Маши из «Трех сестер», что-то негромкое, сдержанное, затаенное, но сильное, порывистое, жизнеупорное, может быть, даже бунтующее и вот-вот готовое прорваться.

Про нее можно было при первом знакомстве подумать: вот, должно быть, цельная натура — как в ней все гармонично сливается, как ей все идет: и серьезность, и веселость, и эта серебристая седина при молодом, порой озорном блеске глаз, и эти ее платья, какой-то особенной, свободной и элегантной «книпперской» моды, и дымок папиросы, и кольцо на нежно-данно большой, не «дамской» и все-таки красивой руке, и легкость походки, и легкость юмора, вспыхивающего иногда в совсем даже неподходящих для юмора ситуациях. Но иногда казалось, что и под этим юмором, и под этой ее «порхающей», как кто-то тонко заметил, улыбкой, и под этой пресловутой, так всеми ценимой легкостью Ольги Леонардовны что-то таится не веселое, неустраивающее, может быть, даже мучительное, чего словами и не назовешь, наверно, — не то недовольство собой, не то какая-то глубоко спрятанная тоска по полноте,

по «смыслу» жизни. Позднее я убедился, что это мне в ней не мерещилось: ведь это, в сущности, лейтмотив большинства ее писем с давних пор (многие из них теперь опубликованы). И в одном из ее поздних писем ко мне тоже не случайно проскользнула однажды такая характерная фраза: «Надо нутро свое наладить, «оформить», чтобы не стыдно было уходить из жизни, а то я разматалась и себя не соберу».

Нет, не укладывается для

сказать по правде, — разве что под сурдинку. Что спеть? Среди ее привычных гостей это само собой разумелось: ну, конечно, ее любимейший старинный романс — «Глядя на луч пурпурного заката, стояли мы на берегу Невы...» Лев Книппер, ее племянник, усаживался за пианино и изо всех сил старался ей помогать, нарочно затягивая «ферматом» и импровизируя затейливые лирические «отыгрыши», чтобы дать ей справиться с дыхани-

никогда потом так и не смог описать. И становилось понятно, почему все видевшие спектакль называют незабываемым их прощание. Еще бы! Разве можно забыть, как в одном коротком слове «прощай», в одном объятии, в одном прорывавшемся рыдании выливалась вся Машина «неудачная жизнь», вся ее непримиренная, полная любви и отчаяния душа.

Как и все постоянные зрители Художественного театра 30-х годов, я с какой-то осо-

опять ты молод, полон счастья, ангелы небесные не покинули тебя...».

А во втором акте, вечернем, закатном, возле полуразрушенной часовни, на коных сена, — с каким замиранием сердца, бывало, ждешь, как сквозь обрывочные реплики накопившегося раздражения («Кто это здесь курит отвратительные сигары?..», «...И кому? Половым говорить о декадентах!..») сегодня опять у нее прорвется неожиданным трепетом исповедь: «О, мои грехи...», исповедь, неизвестно к кому обращенная, полная такой саднящей обиды на жизнь, и раскаяния, и стыда, и отчаяния, и чуть ли не молитвы («Господи, господи, будь милостив...»). И тут же, кажется, даже без паузы, только вздохнув и опустив голову, она уже как будто втайне готова вновь возвратиться на круги своя, туда, в Париж, где ведь опять ее ждут, опять кто-то «просит прощения, умоляет вернуться...» А минуту спустя, при первых же звуках «знаменитого еврейского оркестра», долетевших сюда в вечерней тишине, — уже словно и не было никакой исповеди, и слез не было, так легко и бездумно: «Его бы к нам звать как-нибудь, устроить вечерец...»

И всегда по-новому волновала в третьем акте ее всевозрастающая тревога — эта нетвердая походка, эта зябкость в едва заметном движении плеч, эти беспомощные руки, роняющие на пол кружевной платок и вместе с ним смятую парижскую телеграмму, та бессвязная мольба о каком-то понимании, о каком-то сочувствии, и тут же смешная, злая крикливость в мимолетной ссоре с «вечным студентом». «А вы просто чистюлька, смешной чудак, урод... Вы... как вот говорит наш Фирс, вы недотепа». И сейчас же, без перехода — раскаяние, смех, комический земной поклон и снизу вверх, чуть сбоку — озорной лукавый взгляд на этого «смешного Петю»; и вот уже, услышав музыку, словно подхватив ее на лету, она с ним вальсирует, уплывает в вальсе, по-молодому легко вскинув руку ему на плечо. А ее прощание сквозь слезы с домом, с молодостью, с вишневым садом в финале спектакля... Как все это было прекрасно!

...Недавно, в связи с очередной работой, мне пришлось вновь перечитать все обращенные к ней письма, не только всем известные письма к ней А. П. Чехова, но и всех остальных ее корреспондентов. Можно предположить, что она хранила их полностью, без изъятий; в архиве музея МХАТа они занимают около сорока объемистых коробок, их тысячи. Кончил я это чтение, и как будто сама собой раскрылась передо мной в каком-то новом свете вся ее жизнь... Я думал, что только Станиславский, а из актеров только Качалов и Москвин имели в России такой массовый резонанс и пользовались таким безусловным авторитетом как творческие личности, как некое олицетворение искусства Художественного театра с его гражданственностью и нравственными устоями. Сотни, если не тысячи писем к Ольге Леонардовне свидетельствуют о том же самом по отношению к ней. И прежде всего это письма к ней как к первой актрисе чеховского театра, как к жене Антона Павловича Чехова, как к человеку чеховского склада, чеховского духа, чеховского мировосприятия...

В. ВИЛЕНКИН,
заслуженный деятель искусств РСФСР.

МОНОЛОГИ

ОЛЬГА ЛЕОНАРДОВНА

меня ее живой облик ни в гармоничном, ни в цельную натуру «веселого человека», каким она иногда предстает в мемуарах даже очень хорошо ее знавших людей. Каким-то более сложным и требовательным как к себе, так и к другим было ее пленительное жизнелюбие. И этому вовсе не противоречило ее удивительное умение порой целиком отдаваться веселью, собирав вокруг себя людей, веселить их и радовать у себя в доме, где всегда и стар, и млад чувствовал себя так хорошо, так непринужденно и уютно.

...В этот всеми нами любимый «книпперовский дом» время от времени возвращался дух высокой артистической богемы. Собирая за своим невероятно хлебосольным столом только близких и интересных ей людей, по преимуществу людей искусства, Ольга Леонардовна невольно, без каких-либо особых намерений, создавала вокруг себя атмосферу непринужденности, легкости, готовности и к юмору, и к горячему спору о театре, и к веселым импровизациям, и просто к бездумному, а иной раз и бурному веселью. Но в этом потоке всевозможных «номеров», шуток, выдумок, розыгрышей, экспромтов, прерывая шум, и гам, и смех, здесь могло вдруг возникнуть в наступившей полной тишине и нечто совсем, совсем другое. Сюда легко входило нечто интимно-творческое и тем более драгоценное для присутствующих. Что-то тающееся в самой Ольге Леонардовне, именно ей присущее и ей нужное, казалось, эти минуты и вызывало. Здесь, у нее, Святослав Рихтер не гнушался стареньким пианино с катастрофически отваливающейся педалью для своего музицирования, всегда доставлявшего Ольге Леонардовне такое несказанное наслаждение. Здесь Качалов по первой ее просьбе — «Вася, ты бы почтальон что-нибудь!» — сняв пенсне и прикрыв глаза рукой, тут же за столом читал нам своего Пушкина, Блока, Маяковского, Пастернака. Его чтение — вот такое, за столом, «в компании», совершенно раскованное и привольное, всегда доходило как-то особенно волнующе, это было тоже своего рода музицирование. И как же радовалась этой качаловской музыке, как всей душой открывалась ей навстречу Ольга Леонардовна! Она как будто впитывала в себя каждое стихотворение. А знаменитые импровизированные хоры под управлением и с вдохновенным участием Москвина — как она их всегда заранее ждала и любила!

Не так уж трудно бывало упрямому спеть за столом и ее, хоть и не по годам это уже ей стало, да и не по голосу,

ем. И как же это было трогательно, поэтично, как «доходило до души» все подспудное, затаенное, что она в это свое пение вкладывала!

...Но я застал Ольгу Леонардовну в Художественном театре в тот период ее жизни, когда она еще довольно много играла и в старых своих спектаклях («Вишневый сад», «Дядюшкин сон», «Воскресение»), и в новом тогда спектакле «Враги», довольно часто выступала в концертах, участвовала во всех гастролях театра — в Ленинграде, и в Киеве, и в Горьком, и в городах Донбасса, а в 1937 году — в Париже. Спектакли с ее участием всегда были необычными, праздничными для ее товарищей по сцене — отлично помню эту приподнятую атмосферу за кулисами, когда шел «Вишневый сад» и Раневскую играла она, помню какое-то особенное, с трудом скрываемое волнение перед выходом на сцену в этом старом спектакле и у Василия Ивановича Качалова, и у Тарханова, и у Добронравова, не говоря уже о молодых, и все это волнение, конечно, шло от нее, от ее собственного необыкновенного трепета, с которым она всякий раз возвращалась в свой вишневый сад. Зрители этого спектакля-ветерана все еще принимали ее горячо, восторженно: чувствовалось, что ее любят, что она многим по-настоящему близка и нужна. Это сказывалось и в письмах, которые она получала.

Наше поколение уже не застало на сцене Машу — Книппер в «Трех сестрах». Но в общении с Ольгой Леонардовной было иногда удивительно нетрудно представить себе, как она ее когда-то играла. С этим ощущением как будто виденного собственными глазами сливались, конечно, и чуть ли не с детства знакомые фотографии и какие-то всегда необычные, трепетные воспоминания зрителей старшего поколения. Образ оживал и словно приближался к опоздавшим сквозь давно сложившуюся прекрасную театральную легенду: стройный женский силуэт в черном платье с высоким воротом и с цепочкой на груди, шляпа с большими полями и длинной булавкой, «как тогда носили», простота и свобода в походке, в любой позе, в любом наклоне головы. Так и слышалось и это сосредоточенное Машино повествование, и что-то неожиданно резкое, угловатое в ее интонациях, в ее словечках, и ее невеселый короткий смешок (у Ольги Леонардовны тоже бывал такой в жизни). Легко откликлось воображение на знаменитое «рам-там-там...», переполненное тайным счастьем, в сцене Маши — Книппер с Вершининым — Станиславским, которую никто

бенной нежностью любил ее Раневскую. То, что Ольга Леонардовна продолжала играть эту свою знаменитую роль в «Вишневом саде», освещало непреходящей поэзией старший спектакль, все еще шедший в первоначальных мизансценах 1904 года. Ее участие было главным поэтическим смыслом спектакля и спасало его от налета музейности. Она до конца сохраняла свое творческое право на эту роль. Раневская оставалась ее созданием, которое оказывалось непревзойденным всякий раз, когда в спектакль входили другие, даже самые талантливые актрисы — шутка сказать, какие: Соколова, Андровская, Попова! Казалось, что Ольга Леонардовна одна владела какой-то заветной тайной этого тончайшего, сложнейшего по внутренним психологическим переплетениям чеховского образа. Угадав еще тогда, в начале века, что самое трудное для актрисы в Раневской — найти ее «легкость», она ничем не отяжелела ее и с годами. Когда слушаешь теперь фонографическую запись «Вишневого сада», поражает ее мастерство — филигранность рисунка каждой фразы, весомость каждого слова, богатство оттенков, необыкновенная смелость и точность самых неожиданных внутренних переходов, стройная — нет, вернее сказать, именно нестройная гармония целого. Но когда Ольга Леонардовна была Раневской на сцене, вряд ли кто-нибудь в зале думал о ее мастерстве. Казалось, что она ее и не играет вовсе, и все, что она делает, рождается тут же, само собой разумеется, существует вне ее актерского намерения и умения.

Так казалось потому, что в ее Раневской все было неподдельным и слитным — душевная растерянность и тонкий, замедленный иронический ум, легкий смех и близкие слезы, легкомыслие и доброта, беспомощность и изящество, что-то корневое, глубинное от русского усадьбного быта и что-то неуловимое от парижской богемы. Никогда нельзя было про нее сказать: здесь она такая, а вот здесь уже другая; в каждый данный момент в ней было все, она жила всей полнотой жизни образом, слившегося с ее душой, и, казалось, сама ждала от него неожиданных проявлений, сколько бы лет ни шел этот спектакль. Каждый раз по-разному она подходила в первом акте, в своем этом неизменном светло-коричневом дорожном платье, к окну и вглядывалась в залитые белым цветением деревья, и по-разному звучала затаенная чеховская музыка в ее словах, сказанных как будто только самой себе и этому саду: «Весь, весь белый! О сад мой! После темной ненастной осени и холодной зимы